

Содержание



Как это все писалось	11
-------------------------------	----

Галина Щербакова, 1992 г.

История любви	23
------------------------	----

Александр Щербаков, муж писательницы,
журналист «Комсомольской правды»

Верните мне мою эпоху	35
--------------------------------	----

Культурный код начала 80-х

Вам и не снилось... ..	54
---------------------------	----

Галина Щербакова

5 * Словарик	181
--------------------	-----

Фильм: как он снимался

и кто его делал186

Денис Корсаков

Писательница и сценаристка

Галина Щербакова:195

«Во мне сидело желание создавать новый мир,
другую реальность»

Режиссер

Илья Фрэз:.....203

«Я понял, что должен ставить
«Вам и не снилось...» – и ничего больше»

Актер Никита

Михайловский:217

звездный мальчик с глазами старика

Актриса Татьяна

Аксюта:225

последняя травести

Актриса Татьяна

Пельтцер:235

«С жутким характером,
но доброты необычайной»







Актриса Ирина
Мирошниченко:245

победительница мхатовского соцсоревнования
и «советская Мэрилин Монро»

Актриса Лидия
Федосеева-Шукшина:255

«Я передоила всех коров Советского Союза
и в кино хочу другого!»

«Ветер ли старое
имя развеял...»265

О чем на самом деле стихотворение
Рабиндраната Тагора





Как это все писалось

Галина Щербакова
1992 г.

Боюсь наврать. Хотя это тот самый случай, когда вранье безобидно и недоказуемо. Оно в моей голове – и только, ну и попробуй туда проникнуть и отделить плевелы от зерен. Может, пьяные плевелы и есть самое то, из чего растут стихи и проза. И зерна при них отдыхают, ибо скучны и в деле фантазии неплодovitы. У меня хозяйство не плановое – стихийное. Рассказы приходят без разрешения и стука, они спугивают так славно расположившихся героев и замарывают первую, всегда красиво написанную строчку. И я мечусь между теми (первыми) и ворвавшимися без стука вторыми. Эта суматоха мне радостна, она меня бодрит. И я, как девочка в лесу, где не страшно, а интересно, где неспешно идет время – день, два, четыре, пока они сами решат, кому со мной остаться – первым или вторым. Или потесниться для вдруг пришедшего третьего. И однажды я просыпаюсь и сама зачеркиваю первую красивую строчку – такая, оказывается, она дура. И несет меня новый ветер, и шепчутся другие слова. И вспомню ли я когда ту зачеркнутую строчку?

Могу и вспомнить, и увидеть, что она была вполне ничего собой. Так, наверное, возвращаются к брошенному мужу, который так уж был нехорош, что и говорить нет смысла, ан нет... Стоит только пройти времени, и ты уже другая, и он уже другой. А может, пример с мужем глуп. Просто в горшке, вынесенном на балкон, давно засох фикус. И ты поставила на его место кокетливую гортензию, а потом вышла на балкон – и о боже! – фикус дал росток. Такой крепенький зеленый лист. И такая радость, и счастье.

Все! Я объяснила вам мой способ рожать мои строчки. И не буду больше бояться соврать. История с долей вранья всегда была интереснее. А может, и правда, которую я подыму из памяти, будет хороша собой и без плевел.

Посмотрим.

Когда б вы знали, из какого сора...

...Я иду вдоль длинного щелястого забора по хорошо утоптанной траве и позваниваю алюминиевыми судками. Я иду за обедом. Если учесть, что я на дух не переношу столовскую и даже ресторанную пищу, что место у плиты и домашняя стряпня всю жизнь для меня святы, значит, со мной что-то случилось, раз я так пала – кормлюсь из общего котла «правдинской» столовой, скорее даже полевой кухни, которая готовит обед для дачников-правдистов высокого звена. Такая у них привилегия. Все довольны, всем хорошо.



После всех суровых
ответов из издательств я
приняла решение писать только
про любовь, которая тоже
бывает больная и дура душой,
но она – всякая-разная –
все-таки любовь, и ею
советское отечество сроду
не интересовалось.

Свободное от стояния в очереди магазинов, а потом у плиты время дамы-правдистки отдают прогулкам на «водосброс» или на старицу речки Учи, но чаще – в Акулово, где есть маленький магазинчик с польскими кофточками, венгерскими, на кнопках, платьями и духами «Быть может...». Все панамистые, сарафанистые, с букетиками растущих вольно цветов дамы изображают очень поношенный, но все-таки высший свет эпохи семидесятых. Ленину в гробу недавно исполнилось сто лет, и он совершенно не изменился, а одна ретивая партийка объясняет нам в очереди за супом харчо и биточками с вермишелью, что, на ее взгляд – а она ходит в мавзолей каждый апрель, – вождь даже помолодел: «Хорошо за ним смотрят».

– Да это ты, дура старая, постарела и поглупела вконец, если тебе покойники молодыми кажутся.

Эти две партийки – антиподы и всегда в состоянии схватки и друг с другом, и со всеми окружающими.

– Женщина, – говорит мне та, у которой Ленин молодеет, – спину-то можно было бы и прикрыть. У нас тут дети живут.

Далась человечеству моя спина. Когда я была совсем молода и недурна собой, в Ростове-на-Дону меня едва не выкинули из трамвая именно за открытую спину. Ростовчанки – женщины темпераментные, а я спиной своей с загорелой ложбинкой между изящными, а не грубыми и мосластыми лопатками, конечно, хвасталась. Мне, еще маленькой, мама говорила, что кроме других достоинств у меня есть редкое – спина.

– Вот из-за таких заголенных мужики и бегают от законных жен...

Я тогда выпрыгнула из трамвая. И долго шла рядом с ним, пока он еле-еле плелся, гордясь спиной и недоступностью для крутых баб.

Но ведь то было когда... А сейчас я с судками, мне вот-вот сорок брякнет. У меня нет ног до ушей, нет сексуально вывороченных губ, у меня на самом деле, может, товарна только спина. И как там она у меня открыта? Треугольничком от плеч до талии, но почему-то стервенеют ленинки! Но сейчас я не в трамвае, я в очереди, и фиг вам, я не выйду из нее.

Мне заполнили судки, выдали две селедки, и я иду назад, повернувшись к ним своей грешной спиной.

Так вот... Что же довело меня до жизни со столовской кормежкой? Руки у меня, что ли, отсохли, или газу нет именно в моей собачьей будке? Нет, все не так. Все величественно и прекрасно – я пишу повесть про любовь. У меня уже лежит в столе роман «Провинциалы в Москве» и еще тройка повестей, но они, увы, не ко времени ленинской молодости. Они скулежные, недовольные временем.

После всех суровых ответов из издательств я приняла решение писать только про любовь, которая тоже бывает больная и дура душой, но она, даже всякая разная, все-таки – любовь, и ею советское отечество сроду не интересовалось. Оно даже не знало слова «секс».

От будущей повести у меня теплеет в животе, сжимается горло и подрагивают коленки. А вот и «спецучасток» Мамонтовки, где мне выпала честь жить... Навстречу, распахнув руки, бежит дочь, и я едва не роняю судки от ее жарких объятий. Могло ли мне прийти в голову, что, когда ей будет столько лет, сколько мне в момент несения судков, она скажет, что я испортила ей жизнь и это мы с отцом виноваты, что она ничего не добилась. В общем, такое мне и не снилось тогда, когда она обнимала меня крепко-крепко. Пройдет время, я отплачусь и

напишу историю глупости, слепоты и жестокости, выросших на месте любви. А пока сажусь на веранде, смотрю на свою тогда обожаемую умницу-дочь, а сама пишу о девочке, которая рисует себе мысленную диагональ, по которой ей легче всего было бы спускаться в новую школу, а по жизни приходится топать и топать по рывтинам строек.

Но, пока пишу о девочке, думаю я о сыне. Это он в то время идет по хрустким доскам первой любви, и я так хорошо чувствую возможность облома, провала под его ногами. И молю о ветке, которой он спасется. Зеленая дурочка должна появиться ровно в тот момент, когда понадобится мальчику. У сына была не ветка, а жестяная труба с крыши, которая гремит весной падающим по ней льдом, а осенью шумит ливнем, возбуждая холодящее чувство потопа.

Так вот, мой сынок, пока мы с отцом отогревались на Черном море, решил объясниться в любви девочке, взобравшись к ней на шестой этаж. Он таки влез, оставил на балконе соответствующие слова, что-то типа «возьми меня навсегда на воспитание», и стал спускаться. Хлипкая жестянка в конце концов не выдержала веса шестнадцатилетнего дурня и стала распадаться на составные. Но бог его хранил, это было уже недалеко от земли, и он сумел, спружинив, прыгнуть, даже не поломав ноги.

Мы вернулись с моря. О происшедшем нам рассказал не сын, а чужие люди, нас охватил ужас неслучившегося, и на этом ужасе и завязалась история. Я вспомнила свое детство, как тенью ходил за мной мальчик, имя которого я так и не узнала. Помню кепочку, надвинутую на глаза, и легкое посвистывание. Ни разу не встал лицом к лицу, просто ходил весь мой девятый класс, и я так и не узнала, ни кто он, ни откуда. Мои подружки дали ему обидную кличку, ах, как жаль, что я ее забыла. Знаю, она была обидная, то ли «каша, которая свистит», то ли «говнистый свисток», но не это, какое-то другое – одно – слово... Да бог с ним.

Но два мальчика, сегодняшний и когдатошний, родной и абсолютно мне неизвестный, высекли из меня искру. И я села писать повесть о любви. У нее не было названия, но имена были сразу – Роман и Юлька. Писалось легко, радостно, как я больше всего люблю, когда не знаю ни следующей фразы, ни тем более, чем все кончится. В сущности, это как полет птицы в небе, не ведающей, насколько она взметнется вверх, равно как низко на застывших крыльях сядет на землю, дерево ли, крышу.

Замечания по тексту я принимала только от мужа. Я давно знаю, что он лучше меня понимает мои закидоны и сумеет поймать меня в каком-нибудь совсем уж завиральном полете слов и мыслей.

Короче, то лето в Мамонтовке было летом Романа и Юльки, а также судков и детских праздников, на которых дети рядились кто во что, а мамы или пекли сами, или что-то сладкое несли из магазинов.

В сущности, это был счастливый период, и уже сейчас я задаю себе вопрос: почему меня неведомой силой вело, тянуло в трагедию, в гибель мальчика? Если было так все хорошо. И еще была жива моя мама. Я ведь только после ее смерти поняла простую, как мычание, мысль: после мамы ты следующий. Мама – оплот и защита, даже если живет от тебя на краю света. Высшими нитями она держит, охраняет тебя, ты остаешься в ней, даже когда выходят послед и последняя капля крови от твоего рождения. Она все равно держит в себе и память зачатия, и места прилежания, и возникновение твоей сущности, и первый толчок. Связаны пуповиной? Да нет же! Пуповина – материальная составная, перерезали – и делу конец. Тут что-то большое, надмирное. Я помню толчки собственного сына и толчки дочери, я помню боль их рождения, которая одновременно и самое большое счастье. Но ведь ничего не бывает случайно. И боль, и толчки – это знаки судьбы, они всегда с тобой, они – оберег. А однажды мама уходит навсегда, и дети взрослые, почти старые, остаются мокрые и голенькие, как если бы мать умерла еще там, на родовом столе. Нет сильнее одиночества, чем одиночество после смерти мамы. Ах, как мне жалко детей, которые в силу молодой дури не подозревают об этом.

И три года лежала в «Юности» повесть, и юные редактрисы жалели меня всем сердцем и как могли защищали в редакционных баталиях повесть о любви.

Так вот, вернемся к повести. Я, счастливая в ту пору балда, взяла и сбросила мальчика из окна, не зная, что поплачусь за это. Смертью мамы. Но сначала были испуганные трагическим финалом редактора. Тогда не было принято погибать за любовь. Вот разбиться, поправляя покосившийся портрет Ленина на шестиэтажном доме, это да, это хорошая, высокая смерть. Погибнуть в горящем тракторе, пытаюсь его потушить, хотя спрыгнуть с него – дело секундное, тоже красиво. Машина важнее человека. Но чтобы из-за девчонки-недомерка, которая живехонькая стоит внизу, навернуться с подоконника – это бред сивой кобылы. Так мне и было сказано.

И три года лежала в «Юности» повесть, и юные редактрисы жалели меня всем сердцем и как могли защищали в редакционных баталиях повесть о любви.

От отчаяния я заслупявила третий экземпляр повести в желтый конверт, в котором приходил журнал «Америка», и надписала, аки Ванька Жуков: «Студия имени Горького, Герасимову».

И тут в системе управления судьбами людей и романов щелкнул таинственный тумблер, и стрелка указала на меня. Некто, отвечающий за глупое человечество, посмотрел и задумался: что же со мной делать? Наехать трамваем или дать высокую должность в журнале?.. Убивать меня было почему-то жалко, а от должности указанная стрелка отклонялась.

Со мной надо было что-то решать. Пришлось высшим силам вникнуть в ситуацию. И на следующий день после отсылки конверта на студию меня вызвал Борис Полевой, главный редактор «Юности», где написанная повесть и лежала уже года три. Я поняла, что это конец. Певец безногого героя, преодолевшего все и вся, а тут никакой себе мальчик-размазня. Похоже, мне должны окончательно вернуть повесть. И это делает Сам.



– Я не трус, – тихо и даже как-то виновато произнес он, – но я боюсь. Я боюсь, что после вашей повести мальчишки начнут прыгать из окон. Вы не боитесь?

Боюсь ошибиться и обидеть, но смоляной цвет волос Полевого заставил тогда подумать о краске басма. Ничего себе штучка (я)! Позвали к такому лицу, а я воображаю пошлые глупости. Конечно, меня надо выставить, и навсегда.

Но если цвет волос еще вызывал чисто парикмахерские мысли, то ярко-зеленый шарфик с боковым бантиком на шее не оставлял места для сомнений: дедушке-редактору хотелось быть красивым в свои семьдесят с хвостиком, хотелось быть молодым, – и я ощутила слабую надежду, что не сдающийся возрасту мужчина что-то, а любовь понять сможет.

Но была повергнута ниц.

– Я был под Сталинградом, – сказал он мне с гордым достоинством, – я много видел смерти и никогда не был трусом.

Это было прочеканено, едва я уселась краешком юбки на краешек стула. Полагалось ли мне что-то ответить на это? Пожать ему руку или просто восхититься, что он такой прекрасный? Или воскликнуть: «Я знаю, я знаю, другой бы человек не смог написать так про войну».

Но я уперлась глазом в зеленый шарфик и думала, что этот оттенок зеленого очень подходит к его смоляным кудрям. Я тоже брюнетка, но мама всю жизнь долдонила мне, что брюнеткам зеленый цвет не идет, он их старит. После встречи с Полевым я изменила взгляд на мир. Я теперь сочетаюсь с зеленым.

Так вот, он повторил мне еще и еще, что он «не трус». Я же молчала, «как рыба об лед». И тогда он произнес фразу, которая и была смыслом нашей с ним встречи.

– Я не трус, – тихо и даже как-то виновато произнес он, – но я боюсь. Я боюсь, что после вашей повести мальчики начнут прыгать из окон. Вы не боитесь?

Честно говоря, мне ничего подобного в голову не приходило. Я не знала статистики бросков под поезд после Анны Карениной, прыгания с обрыва после Катерины, самоубийств имени Треплева и прочая, и прочая. У меня как-то изначально мухи от котлет были отделены. Но он говорил и говорил, он взывал к моей совести и родительской жалости, он прямо намекал на моих собственных детей, которых я могу толкнуть к беде. «Кто кого», – думала я. И даже хотела рассказать ему, что мой сын еще до моей повести карабкался по жестяной трубе и едва не сломал себе шею. Но не стала. Я услышала не голос – шепот.

– Вам изменить-то надо всего одну фразу – и мы поставим повесть в номер.

Честно, я не помню, как дословно выглядел тот, первый, конец. Но – без вариантов – мальчик погибал, а девочка рыдала на его груди. И где-то там звучала музыка скорой помощи.

Автор – человек слабый и беззащитный, и кофе очень часто пьет без всякого удовольствия. Еще он бедный и тщеславный. Ему, сволочи-автору, до коллик в животе хочется быть опубликованным, а ради счастья оказаться в следующем номере он переписшет фразу, пропади она пропадом.

«Я попробую», – сказала я. И прямо в полутемном коридоре «Юности» на собственном колене внесла правку. Она была двусмысленна и лукава, но это не от игры моего ума – ум отсутствовал, возможно,

он продолжал беседу с Полевым, а дело сделала коленка: она дрожала и оставила героя в состоянии неопределенном. Не смерти, а, скорее, жизни.

Никто больше не вникал после указаний Полевого, и повесть отправили в очередь следующего номера – сентября 1979 года. Двадцать пять лет прошло – а я нет-нет и опять наталкиваюсь на письма с жгучим вопросом: «Погиб Роман или нет? Ответьте, пожалуйста. Мы тут все плачем от неизвестности».

«Юность» радовалась – никогда она не получала столько писем, и даже таких: «Просим опубликовать повесть еще раз».

Откуда мне было знать, что этот момент – момент высшей моей славы, что никогда больше я не буду так известна и знаменита. Что со всей великой Союзии станут приезжать люди, звонить в дверь хоть и в шесть часов утра («Так мы ж прямо с поезда»), чтоб рассказать, как любил Петя Настю, а «эти сволочи родители... Напишите про них, Галина Николаевна! Очень вам будем благодарны». И доставалось то вино молдавское, то сало полтавское, то грибы, то клюква. Такое замечательное время чистого бескорыстия.

Одновременно... Одновременно с ключевым участием коленки в судьбе повести, когда я в тот день вернулась домой, раздался телефонный звонок. И голос известно-неизвестный произнес фразу почти что прямо из Булгакова: «Мы прочитали ваш роман... Он передан с рекомендацией в такой-то отдел. Это Тамара Федоровна Макарова».

Слишком много для одного дня. Ибо вскоре опять раздался звонок, и человек сказал: «Я Фрэнсис. Запомните: я позвонил первым. Я хочу снимать вашу повесть. Вы будете сами писать сценарий или?..»

Какое могло быть «или»? Я села за киносценарий, абсолютно не представляя, как делается это варево. Фрэнсис пугался моей бестолковости. Норовил дать мне в подручные кого-нибудь из маститых, но я отбивалась, как мушкетер, проходя эту науку методом проб и ошибок. В конце концов, какой-то вариант устроил режиссера.

Измученная работой, я вместе с мужем и дочерью поехала отдохнуть в Сочи. Надо сказать, что «следующий номер «Юности» еще был в работе и до верстки у меня есть какое-то время. Я оставляю в редакции адрес санатория и адрес мамы, к которой собираюсь заехать на обратном пути на пару дней. Мало ли что! По идее, мне хочется жить и ночевать в типографии, а не мчаться на какие-то берега. Меня увозят силой, но я, как хитромудрый мальчик из сказок братьев Гримм, разбрасываю за собой камни, крошки, по которым меня можно найти и вернуть. О кино я не думаю. Мне нравится мой сценарий. Фрэнсу тоже. О системе прохождения сце-

нариев в Госкино я, конечно, слышала, но не вникала. У меня на выходе повесть. Что может быть важнее этого? Кто сможет теперь меня остановить в Госкино, если я пропущена через зеленый шарфик самого Полевого?

На обратной дороге мы заезжаем к моей болеющей маме. Она машет мне телеграммой, где Бобрынина, сотрудница отдела прозы «Юности», предлагает мне срочно поменять название повести. Убейте меня, но я не помню, как она называлась сначала. Присев рядом с мамой, я опять и снова пишу на коленках десять или двадцать названий и бегу на почту звонить в редакцию. На маминой кровати лежат два журнала – «Дон» и «Знамя», в них – единственные мои публикации. Она тут же начинает волноваться за меня, а я весь этот крошечный остаток дня пишу и пишу названия.

А я спорю. Я смею спорить!
Я слепа. Я глуха. Я не вижу.
Я не чувствую. А вечером нам
уезжать, и я тороплю время,
чтоб успеть завтра поменять
так не понравившееся
мне название.

На следующий день я продолжаю быть полусумасшедшей, не зная главного: что этот день – последний день жизни моей мамы. Утром я слышу ее неожиданно молодой голос, отдающий отчиму распорядка, чем нас кормить. И этот голос мамы – привычный, без прерывающегося дыхания, а совсем молодой, почти юный, сбивает меня с толку. И вместо того чтобы провести этот день из минуты в минуту с ней, не расставаясь, вдыхать ее запах, и слушать, и слушать все ее слова, и вникать в них, постигать их окончательность, я, как идиотка, снова бегу на почту с новым списком названий, а мне говорят, что я свободна как ветер, что название взято из повести, прямо с первой странички выскочило, классное такое название – «Вам и не снилось...». Я в ужасе кладу трубку. Какой кошмар! Где у меня эти слова? Да нет их сроду. И что они вообще значат?

Весь день, последний мамин день, я обсуждаю эту дурь – название повести.

– Да неплохо, доченька, – говорит она мне, – совсем неплохо.

А я спорю. Я смею спорить! Я слепа. Я глуха. Я не вижу. Я не чувствую. А вечером нам уезжать, и я тороплю время, чтоб успеть завтра поменять так не понравившееся мне название.

Когда мы в Москве подошли к двери своей квартиры, там вовсю надрылся междугородный телефон. Я успела к нему. Я не поняла хриплого, какого-то чужого голоса отчима. Он повторил дважды: «Валя умерла». – «Но мы же были вчера!» – сказала я глупость. – «Она умерла сегодня утром».

Мама умерла в июле, а в сентябре вышел журнал. Письма от читателей пошли сразу, практически на следующий день. И этот колокольный звон вопросов «жив-не жив» вернул меня в живой сумасшедший мир. Не надо думать, что реакция была однозначной. Отнюдь! Меня больно били за восхищение незрелыми чувствами. Меня смешил этот ботанический подход, будто не бывает оглушительных чувств даже у двенадцатилетних.

У меня развился острый ларингит от многочисленных споров на эту тему. Время от времени он достает меня и сейчас, и тогда я вспоминаю, как на одной встрече в педучилище я была так бита, что сопровождавший меня не помню кто из начальников «Юности» тихонько смылся на словах, что училище пишет письмо в ЦК КПСС, чтобы там приняли соответствующее постановление по поводу порочной повести.

– Как можно писать, что у девочки были трусики сорок второго размера? – кричала на меня не то завуч, не то директор.

– А какие должны быть трусики? – осипшим голосом спросила я.

– Их не должно быть совсем!

Зал засмеялся, но суровая дама была боец-панфиловец и слова «назад» не знала.

– Их нельзя упоминать! Это позор – писать о трусах!

Как еще далеки мы были от прокладок, памперсов, презервативов и прочих, оказывается, остро необходимых деталей жизни.

Меня тогда удивило одно: дети дружно поддерживали начальство. «Какие сволочи», – думала я о них. Только одна девочка сказала, что ей понравилась повесть, но на нее так зашикали, что она села сама не своя, побледневшая до синевы.

Но это был не конец встречи. Конец был удивительный. Оплеванная читателями, грозившими «Юности» постановлением типа «О журна-

лах «Звезда» и «Ленинград», я пошла искать свое пальтецо, висевшее где-то в глубине раздевалки. Я была так удручена и растеряна, что долго не могла его найти, и просто не заметила, как оказалась в шатре из плащей, пальто и зонтиков. Это меня окружили только что осуждавшие повесть дети. Они совали мне цветы и, тупя глаза, признавались, что таковы были указания дирекции – бить меня в сплетение, насмерть, и чтоб никаких там «ах» и «ох» не было, автор должен уйти пристыженным и прибитым, дабы впредь никогда и не садился за письменный стол. Дети проводили меня до метро, сто раз благодаря за повесть и крича «Простите нас».

Как смешно и глупо. Детская любовь оказалась опасной для власти. И я сейчас думаю, что это оттого, что то время уже чувствовало свой конец. Он был непонятен и, видимо, очень страшил, если их пугали даже детские трусики. Это каким же чудовищным представлялось грядущее время, которое где-то там, но уже есть и движется, движется на них...

Сейчас я перескочу вперед. Уже вышел фильм и начался второй бум славы «Вам и не снилось...». И мы снова ходили на встречи, теперь с Фрэзом, и ему, бедняге, приходилось объяснять, почему в повести герой погибает, а в фильме нет. Мое колено тогда ловко выдало одну только фразу, которую просил Полевой, и конец стал неопределенным. И многие все поняли, что именно было в замысле у автора. Кино же – штука наглядная. Тебе не рассказывают – показывают. И кино показало мальчика, конечно, ударившегося попойкой, но сумевшего приподняться к любимой девушке абсолютно живым.

Фрэнз честно говорил, что он любит хорошие концы, чтоб все остались целы, жили долго и счастливо.

И вот с этим хеппи-эндом мы были званы на встречу в ЦК лично к мадам Черненко, тогдашней «первой леди». Застой уже уходил на покой. И нам – уже в последний раз – была сказана суровая главная правда о нашем фильме, о его подспудной заразе.

– В нашей стране, – сказала мадам Черненко, – не врут. Ни родители, ни учителя, ни тем более дети. У вас же в фильме врут все. И это вредный, позорящий наше общество фильм.

Но в этот раз мне почему-то было весело. Так защищать образ лжи можно только отрубленной головой. И я сказала себе: ну его, это государство с его мелкими деревенскими хитростями. В жизни есть все – трусики, ложь, правда, верность, измена и обязательно смерть, сразу или потом. Пройти надо через все. Ничего нельзя выкинуть, не то жизнь обязательно кончится раньше времени.

